

**ПЕТР  
ВЯЗЕМСКИЙ**

КНЯЗЬ ПЕТР  
БОРИСОВИЧ  
КОЗЛОВСКИЙ

# Петр Андреевич Вяземский Князь Петр Борисович Козловский

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=24526119](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24526119)*

## **Аннотация**

«На днях получено здесь печальное известие из Бадена о смерти князя Петра Борисовича Козловского, в то самое время, когда приятели его, ободренные слухами о благоприятных успехах лечения его, надеялись на скорое и совершенное его выздоровление. Сия утрата не из числа тех, которые внезапно пресекают и поглощают в себе непосредственное действие на современные события, на лица и отношения окружающего мира...»

# Петр Вяземский

## Князь Петр Борисович Козловский

На днях получено здесь печальное известие из Бадена о смерти<sup>1</sup> князя Петра Борисовича Козловского, в то самое время, когда приятели его, ободренные слухами о благоприятных успехах лечения его, надеялись на скорое и совершенное его выздоровление. Сия утрата не из числа тех, которые внезапно пресекают и поглощают в себе непосредственное действие на современные события, на лица и отношения окружающего мира. Смерть его оставляет все и всех в том же виде и положении, как и при жизни его. Ни в сфере государственной деятельности, ни в литературе, ни на каком другом гласном общественном поприще он не занимал высшего места, места ему особенно присвоенного. Никакие обязанности, никакая ответственность собственно на нем не лежали. От него ничего не ожидали, ничего не надеялись. Он жил, так сказать, в себе и для себя, жизнью личною, отдельною, которая отражалась, так сказать, в одном тесном очерке, обведенном собственною его тенью, тенью частного и обыкновенного человека. Но не менее того смерть его есть утрата незабвенная и невозвратимая. Дело в том, что

---

<sup>1</sup> Князь Козловский умер в Баден-Бадене 14(26) октября 1840 года.

хотя и не был он действительным членом общества, а только почетным, что лица и события шли мимо его и без него, что он ничего не совершил вполне, не посвятил себя ни одному из тех общественных и нравственных служений, которые дают известность, почетность, власть и славу, но в одном отношении был он полным представителем одного ясного и высокого понятия: он был вполне человеком необыкновенно умным, необыкновенно просвещенным, необыкновенно добрым. Сего довольно, чтобы иметь верное, неотъемлемое место в частной современной, если не во всеобщей истории человечества и верное и неотъемлемое, право на любовь и уважение ближних, на слезы и скорбь благодарной памяти. Кто может исследовать пути Провидения и пружины, коими оно действует для направления нас к предназначенной цели? Но если средства сокрыты от нашего близорукого зрения, то самая цель сия ясна для нашего внутреннего убеждения и сознания. И как же не быть убежденным, что жизнь, подобная жизни князя Козловского, одаренная такими прекрасными свойствами, способностями и силою, хотя, впрочем, и не призванная к явному и плодovitому действию, но все же не могла она быть вотще брошена Провидением на землю и не отозваться благим сочувствием в чем-нибудь и в ком-нибудь. След этой жизни не отразился в летописях общества, отмеченный особенным именем и заглавием; но действие ее темное, безыменное не менее того существует и выразилось где-нибудь и когда-нибудь во всей своей полноте и силе. Кто

скажет, который именно лишний из числа безвестных и подземных родников, которые сливаются воедино своими струями и образуют одно из тех величественных и живописных озер, коими славится окрестность и любуются прохожие?

Нет, князь Козловский жил недаром.

Частью шутя, но частью и с твердым убеждением он уверял, что ему определено на земле одно назначение, что он облечен одним призванием: что он послан был Провидением говорить. И в самом деле, кто имел случай слушать его, кто имел счастье испытать, сколько было силы, увлекательности и прелести в речи его, тот готов согласиться с ним, что он точно угадал призвание свое. Дар слова был в нем такое же орудие, такое же могущество, как дар поэзии в поэте, дар творчества в художнике. Оратор, не из тех, кому нужна трибуна, приготовленная сцена, приготовленная публика, которые, ораторствуя, играют роль или несут повинность, он был оратором ежедневным, ежеминутным, всегда готовым, всегда послушным внутреннему или внешнему призванию, всегда повелительным над вниманием своих собеседников. Вопросы истории, политики современной, науки, литературы, общежития, нравственности равно отзывались в нем, равно потрясали тонкие и раздражительные фибры его интеллектуальности и разрешались внезапными светлыми и живыми импровизациями. Все соединилось, чтобы дать слову его жизнь, силу и краску. Ум его был пронизательный и восприимчивый. Он мог и углубляться в предметы, и вместе с тем

слегка и приятно скользить по одной их опушке. В словах его были и достоинство ценности, и красивость отделки, то есть мысль и выражение. Вспомогательные средства были также обильны: большая начитанность, тесное знакомство со всеми европейскими знаменитостями и память удивительная. Ко всему этому прибавьте смелость своих мнений; вопреки отзыву Талейрана, что слово есть маска мысли, в нем слово было живой, горячий отпечаток мысли его, какая ни была бы сия мысль. При всех этих блестящих качествах ума или, правильнее, именно от этих качеств преобладательных беседа его могла бы быть иногда тяжела и угнетательна. В ярком, резком уме, особенно словоохотливом, есть часто что-то деспотическое, навязчивое, оскорбительное для самолюбия слушателя. Мы рады признавать чужое превосходство и владычество, но не хотим собственного уничтожения. В князе Козловском были другие нравственные качества, благоприятно противодействовавшие властолюбию ума. Необыкновенная доброта, простодушие, мягкость в приемах, вежливость аттическая и совершенно аристократическая всегда умеряли речь его пламенную, своевольную, только что не заносчивую. Самое противоречие его берегло самолюбие противника. Спор с ним был честный, рыцарский поединок. Еще владел он одною способностью, редкою в том, который любит и мастер говорить: он умел слушать. «Какая отличительная черта благовоспитанного человека?» – спросили однажды г-жу Сталь. «Умение слушать», – отвечала она. Сей

ответ, цитованный князем Козловским, оправдывался и подкреплялся примером его.

В первый раз сошелся я с князем Козловским в 1834 году. Мы были друг другу известны по общим нашим приятелям, но знакомы не были. Я тогда жил в Ганау. В проезд свой в Россию чрез этот город зашел он ко мне. С первой встречи, с первых минут разговора нашего мы уже были будто старые приятели. Простое обхождение его, искренность заменили действие лет и давали настоящему свычку небывалого прошедшего. До поздней ночи проговорили мы или, лучше сказать, прослушал я его. Я тогда же записал в памятную книжку свою впечатления моего нового знакомства и многое, что слышал от него. Жаль, что эти заметки безвозвратно пропали в пожаре парохода «Николай I». На другой день рано поутру явился я к нему. Он собирался уже ехать. Я проводил и посадил его в коляску фурмана, который должен был везти его чрез Лейпциг в Варшаву. В этой же коляске взято было место и какою-то дамою или женщиною среднего звания, и NB. не молодою и не красавицею. Лучшее место принадлежало князю Козловскому, но он никак не согласился воспользоваться им и после долгих прений обоюдного великодушия уступил его своей спутнице и сам сел на узкой передней прилавочке. Знаящим его легко понять, что при непомерной тучности его подобное рыцарское самоотвержение было вместе с тем и добровольное мученичество на несколько дней. Для тех же, которые не знали его, эта черта, как она

ни маловажна, может служить характеристикой. Эта черта не нашего времени; тут есть что-то *старосветское*, в хорошем значении сего слова, искаженном спесью нового поколения, которое ругается старостью. Она рисует физиономию. И в самом деле, при образованности в высшей степени современной, при направлении мыслей не только нынешних, но часто и завтрашних, князь Козловский имел во многих обычаях своих и правилах что-то версальское, что-то 70-х годов. Женщина была в глазах и понятиях его не просто женщина, но и одна из предрержащих властей в чиновничьем обществе, а потому и предмет уважения. Он во всей силе принадлежал еще классической школе Расина, а не школе Бальзака. Женщина для него не перерождалась в Ж. Занда: она оставалась Лавальер. Так точно он был классик по многим убеждениям своим, правилам, сочувствиям и верованиям, и особенно строгий классик в литературном отношении. Латинский язык, латинские писатели были ему свои. Особенно любил он Ювенала. Когда в Варшаве скоропостижно сошел с ума кучер, который вез его в коляске, и, направив лошадей прямо на край обвала, опрокинулся с ними со всеми в яму на несколько саженей глубины, князь Козловский, вытащенный оттуда, разбитый, приветствовал прибежавшего к нему на помощь лекаря стихами из Ювеналовой сатиры. Редкая и замечательная черта присутствия ума, памяти и литературности в такую неприятную минуту.

В отношении литературных мнений он был не только



строгий классик, но едва ли и не закоснелый старовер. За исключением сочинений исторических, политических и сочинений, до точных наук относящихся, мало того что он не уважал литературы новейшей, но и отказывался от нее и не признавал ее. Разве только два из новейших поэтов были изъяты им из сего острацизма. Байрон и Пушкин. Следующим образом изъяснял он свое мнение по этому предмету: «Всем мнениям нужно освящение времени. До него каждое мнение только частный голос, предположение, прихоть. Я люблю Virгилия и Расина, потому что они мне нравятся, и могу признать любовь мою основательною и благоразумною потому, что большинство, время и опыт оправдывают ее. Современным склонностям и мнениям недостает давности и права. Сколько было обмолвок, ошибок в суждениях, которые на известное время казались непреложными. Нужно иметь непомерное самолюбие, чтобы противопоставить свой частный, единовременный голос голосам народов и столетий!»

В подобном рассуждении есть истина, но есть что-то и парадоксальное, которое, впрочем, встречалось иногда в уме князя Козловского, как и в каждом уме, легкоподвижном и раздражительном, особенно в уме тех, которые избрали предпочтительно орудием своим изустное слово, действуя и играя им постоянно. Ум слишком положительный, так сказать, скованный в некоторых определенных истинах не имел бы того движения, тех страстей и нечаянностей, которые особенно увлекают нас и господствуют над нами силою сочув-

ствий и противоречий. Такой ум не живое существо, а книга, книга единожды и навсегда написанная.

Несчастное приключение, постигшее князя Козловского в Варшаве, долго продержало его там больным и почти безногим. В конце 1836 года или в начале 1837-го наконец явился он в петербургских салонах, на костылях. Появление его произвело в них сильное движение. Он занял в них место до него вакантное – место говоруна, *разговорщика*. У нас нет и слова для наименования подобного лица. Это лицо какой-то *имярек*, что-то безымянное. Давно замечают, что *тайна и прелесть разговорчивости*, коей последние отголоски приветствовали нас во дни нашей молодости, ныне уже преданы забвению со многими другими тайнами и прелестями, упраздненными волею и новыми требованиями господствующей действительности. Не говорим в особенности о нашем обществе, но и о всем европейском обществе. Болтунов найдешь, но *говоруны* перевелись. Единственные говоруны нашей эпохи – журналы. На дипломатических обедах, на вечеринках литературных, в блестящих и многолюдных собраниях, в отдельном и немногим доступном избранном и высшем обществе голос князя Козловского раздавался неумолкно. Жадно собирались около него и наслаждались доселе неведомым удовольствием. Употребляя пошлое сравнение и чисто русскую поговорку, можно сказать, что тогда звали на князя Козловского, как в старину московские бригадиры звали на жирную стерлядь. Даже карточные столы, сии чет-

вероместные омнибусы нашего общества, получасом позже обыкновенного заселялись своими привычными и присяжными заседателями. Казалось, что вдруг, неожиданно сделано новое открытие – открытие дара слова, и все спешили хотя мимоходом полюбоваться сим новым изобретением. Но истинное торжество князя Козловского, лучшая сцена для него была приятельская, простая беседа. Тут, разрешившись от удушливого ига, то есть развязав галстух свой, с умом и одеждою нараспашку, развалившись на покойных креслах, которые служили ему треножником Пифии, и с неугасимую сигаркою во рту, давал он волю своей обильной и разнообразной импровизации.

В последние года жизни своей не мог он, однако же, постоянно ездить в общество, которое любил, можно сказать, до малодушия. Здоровье его более и более расстроивалось. Ноги худо служили ему, тяжкое удушье день и ночь давило и мучило его. Сие болезненное состояние наводило на него минутами облака уныния. Но они скоро рассеивались, когда он имел случай разговориться. Можно сказать, что он имел верное средство *заговаривать* свои боли. Он любил жизнь и боялся смерти, как страшного и конечного таинства. Он жадно, ребячески прилепился к надеждам и испытаниям, которые обещали ему отсрочки от роковой необходимости, но между тем в страданиях своих имел он много христианской покорности и философической бодрости. Вообще в характере его была смесь резких противоположностей. Но они так

мягко и стройно сливались оттенками своими, что пестрота частей не разрушала гармонии целого. Он был простосердечен, доверчив до легковёрности, но вместе с тем знал людей и свет, судил их строго, остроумно, и часто приговоры его были колкие эпиграммы. Сердцем был он робенок, часто малодушный; умом – муж испытанный людьми и судьбою. В самом интеллектуальном образовании его перемешивались странные сцепления. Поэт чувством и воображением, дипломат по склонности и обычаю, жадный собиратель кабинетных тайн до сплетней включительно, был он вместе с тем страстен и к наукам естественным, точным и особенно математическим, которые составляли значительнейший капитал его познаний и были до конца любимым предметом его ученых занятий и глубоких исследований, особенно в бессонные и болезненные ночи. В нем было что-то Даламберта, Гумбольдта и принца де-Линья, но из всех этих личностей пробивалась резко и ярко собственная и самобытная природа его. В Петербурге познакомился он с Пушкиным и тотчас полюбил его. Тогда возникал «Современник». С участием живым, точно редким в деле совершенно постороннем, мысленно и сердечно заботился он об успехе сего предприятия. В то время получил я из Парижа «Annuaire du bureau des Longitudes», издаваемый под особенным надзором ученого Араго. Я предложил князю Козловскому написать на эту книгу рецензию для «Современника». Охотно и горячо ухватившись за мое предложение, продиктовал он

несколько страниц, которые, без сомнения, памятли читателям «Современника». Это была первая попытка его на русском языке, и попытка самая блистательная. Должно заметить при том, что он до того провел постоянных лет 20 и более за границей и мог бы легко отвыкнуть от русского языка, которому, впрочем, никогда не учился основательно. Но выражение было такою обычною и послушною способностью ума его, что с первых приемов применился он, приметался к новому орудию, как искусный боец ловко и метко действует и тем орудием, которое в первый раз в руках его. Новый писатель с первого раза умел найти и присвоить себе слог, что часто не дается и писателям долго упражняющимся в письменном деле. Ясность, краткость, живость были отличительными чертами сего слога. Нет сомнения, что Пушкину со временем удалось бы завербовать князя Козловского в постоянные писатели и сотрудники себе. Жаль, что это не сбылось, он одарил бы нас писателем именно в том роде, в котором у нас недостаток: писателем мыслящим, практическим, переносящим в литературу впечатления, опытность, так сказать, нравы и живое выражение общежития, писателем сочувствующим и соответствующим обществу. В нашей литературе почти вовсе нет того, что у французов в изобилии. Их литература не только животрепещущая, но и грозноволнуемая, она стихия бурями и напастью подвизаемая, наша — тихое пристанище жизни созерцательной, где прения, битвы, страсти, голоса житейские или не отзываются, или замирают

в глухих отголосках. Воспоминания, записки, наблюдения, суждения такого автора были бы драгоценны как в отношении к истории современной, так и в отношении к собственной исповеди, к личному выражению человека, который если и не был одним из деятельнейших актеров своей эпохи, то решительно одним из внимательнейших и остроумнейших зрителей ее. Самая личность его тем более сохранилась бы в самом авторстве, что он писать не любил, а всегда диктовал. «Pour moi c'est une affaire faite, – писал он мне однажды, – je ne sais pas écrire, je ne sais que parler. Le matériel des lettres de l'alphabet m'embrouille les idées». В том же письме уведомляет он меня о статье, которую составил, так сказать, по завещанию Пушкина: «Теория паров», напечатанная в «Современнике». Слова его доказывают, с какую добросовестностью и охотой заботился он о своем труде: «Ma théorie de la vapeur est toute faite, elle se copie et aussitôt que cet ennuyeux travail sera fait, le „Современник“ l'aura avec un soupir. Elle m'a coûté beaucoup de travail, une lecture de plusieurs volumes de physique, de chimie et de mécanique. C'est vraiment un coup de maître que d'avoir réduit l'essence de tant de choses dans 3 ou 4 feuilles d'impression. Quiconque l'aura lue saura tout ce qu'on sait là-dessus en Angleterre et en France, et le comment et le pourquoi. Je vous engage, cher prince, d'être vous même le prote de mon article, et de songer que dans un ouvrage où il y a un tel enchaînement d'idées, la moindre faute d'impression peut rendre toute la machine incompréhensible. Je vous dis au reste d'avance

que c'est une bonne pièce et qu'elle a été écrite *con amore*».

В литературных беседах своих с Пушкиным настоятельно требовал он от него перевода любимой своей сатиры Ювенала «Желания». И Пушкин перед концом своим готовился к этому труду; помню даже, что при этом случае Пушкин перечитывал образцы нашей дидактической поэзии и между прочим перевод Ювеналовой сатиры Дмитриева и любовался сим переводом как нечаянною находкою. Это было род примирения и литературного покаяния. Пушкин бывал прежде несколько несправедлив во мнении своем о достоинстве и заслугах поэзии Дмитриева, будто уже устаревшей. Он, разумеется, не принадлежал к разряду литераторов и критиков наших, которые, бегая взапуски с духом времени, никогда не оглядываются обратно и не берут с собою ничего в запас из прошедшего, чтобы легче быть на ходу. По мнению их, литература должна обновляться каждые пять лет. На ум и дарование есть у них года, как на вина у охотников и знатоков. Шампанское такого-то года уж устарело и не годится; с авторами то же. Но не менее того Пушкин силою обстоятельств и обольщениями извинительного самолюбия принадлежал некогда сему протестующему поколению, тем более что долго протестовало оно именем его и его славою хотело уничтожить все прежние заслуги. С годами, однако же, несколько изменились, то есть созрели понятия его, умирились предубеждения и еще более уяснился светлый и верный ум его. В последствии времени он сам словом и делом протест-

ствовал против своих слепых и неблагоприятных поклонников.

После смерти Пушкина настойчивый князь Козловский передал Жуковскому исполнение любимой задачи своей, обещаясь написать комментарии и примечания к сему творению. Мы выставили это маловажное обстоятельство потому, что оно показывает, как он заботился о русской литературе и каковы были его литературные понятия. *Нынешним* людям, то есть людям не *вчерашним* и, во всяком случае, уже не *завтрашним*, покажется невероятным, как мог умный человек так дорожить опоздавшим выражением классической старины. Но дело в том, что в хорошо образованной голове истинно умного человека есть место всему: и теплой и признательной любви к прошедшему, и требованиям от настоящего, и упованиям на будущее.